

Александр Валентинович Амфитеатров

Наука и магия в античном мире



Александр Амфитеатров

Наука и магия в античном мире

«Public Domain»

1907

Амфитеатров А. В.

Наука и магия в античном мире / А. В. Амфитеатров — «Public Domain», 1907

«Изучая историю древних цивилизаций, трудно не обратить внимания на важную и постоянную роль, какую играла в складе и быту их вера в чудесное и сверхъестественное. Культ чуда был общею основою всех античных религий. Хотя апостол Павел и определил с блестящею меткостью разницу между религиозным характером иудеев и язычников греко-римской культуры: иудеи чуда ищут, эллины мудрости, – но это сказано скорее о способе религиозного восприятия, чем о предмете его...»

Содержание

1	5
2	14
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Александр Амфитеатров

Наука и магия в античном мире

1

Изучая историю древних цивилизаций, трудно не обратить внимания на важную и постоянную роль, какую играла в складе и быту их вера в чудесное и сверхъестественное. Культ чуда был общею основой всех античных религий. Хотя апостол Павел и определил с блестящею меткостью разницу между религиозным характером иудеев и язычников греко-римской культуры: иудеи чуда ищут, эллины мудрости, – но это сказано скорее о способе религиозного восприятия, чем о предмете его. Чудо было необходимо всем. Рим и Афины имели своих вольнодумцев, но сомнения даже самых смелых из них касались не принципа чудес, но лишь известных его практических приложений. Острый ум Лукиана проник в тайны обманных оракулов и жрецов – мистагогов; бич его сатиры не пощадил ни сказочного богословия, ни жертв, ни обрядов, ни самых богов неба, моря и ада; с гражданским мужеством, достойным глубокого уважения, разоблачил он фокусника-обманщика в живом полубоге, Александре из Абонотейха, и высмеял его поклонников, как доверчивых глупцов-суверов. Но общей возможности вмешательства сверхъестественной силы в дела земные, равно как вероятия для человека добыть секрет управления ею, не отрицал ни Лукиан, ни другой кто из дохристианских вольтеррианцев. Мироззрение древних было метафизическое; даже философские системы реальных начал, как атомизм Демокрита и вышедший из него эпикуреизм впадали в постоянные обмолвки, ясно доказательные, что утвердиться в чисто физическом созерцании природы не удавалось, а, может быть, и не хотелось ни их учителям, ни их ученикам. Отрицатель промысла, изобретатель каких-то, совершенно отчуждённых от мира и взаимно не нужных ему, беспричинно и бесцельно блаженных, богов, Эпикур, в результате своей атомистической проповеди, сам едва ли не был обожествляем благоговейными последователями. «Бог он был, только Бог мог говорить словами», восклицает о нём Лукреций. Таким образом, материалисту-метафизику античной древности пришлось стать как бы прообразом судьбы Огюста Конта, великого позитивиста прошлого века, финалом деятельности которого, разрушившей опоры стольких религий, оказалось возникновение во Франции новой религии, распространённой под именем «контизма». Материализм древних полон компромиссами метафор, уводящих мысль весьма далеко от поверочной работы над фактами в область чистого умозрения, на спекулятивные поиски божества, под псевдонимом какого бы «начала всех начал» оно себя ни являло. Абсолютного атеизма древность не знала. В эллинских общинах атеизмом звали монотеизм.

Слово «безбожник» значило не «отрицатель божества», но враг богов народного культа. В Риме, весьма внимательном и строгом в охране своей государственной религии, безбожием считался отказ от формального исполнения её невзыскательных обрядовых предписаний; так как обряды эти считались символом государственной связи и гражданской самозащиты, то уклонение от них признавалось враждебным вызовом народному союзу и вменялось в политическое преступление против основ и существования Рима. После же того, как Рим охватил своею благою властью почти весь, известный тогда и доступный цивилизации, мир, право его, гибкое в фикциях, соответственно расширило границы государственного блюстительства: неуважение к устоям Рима стало, пред сенатом и народом, символом злобы против благополучия целого мира; враги римского обряда объявлялись врагами всех римских народов, – вот почему формула обвинения их гласила о «ненависти к роду человеческому». Дальше политического суда над формальным, показным презрением к государственному культу римское правосудие никогда не шло: рыться в совести своих граждан, подвергать розыску религиозные

идеи, управляющие их мыслью, словом и частною жизнью, Рим считал недостойным себя, – по крайней мере, покуда он оставался Римом, покуда имена «Рим» и «мир» звучали синонимами.

«Религия состоит из жертв и гаданий», – определяет Цицерон. Триста лет спустя, Филострат не сумел вложить лучшего определения в уста своего возлюбленного пророка, Аполлония Тианского. «Что есть высшая мудрость?» – вопрошает его консул Телезин и получает ответ: «Это вдохновение свыше, наука о молитве и жертвоприношениях». Неустойчивость границ, полагаемых такими формулами между магией и религией, заметна по первому взгляду. Потому-то магия, гонимая ещё в законах двенадцати таблиц, и не вытеснялась никогда из государства, и последнее, когда ему приходилось стать судьёй какого-либо чудотворца, оказывалось очень зыбким в критерии, кто маг, кто не маг. Великий жрец Элевзинских таинств не пожелал принять Аполлония Тианского в сообщество мистерий, потому что считал его волшебником. Аполлоний ответил горьким словом, в том смысле, что – не зови колдуном всякого, кто знает больше тебя. Жрец сконфузился и начал сам приглашать Аполлония к таинствам. Пророк презрительно отказался. Тот же Аполлоний дважды был под судом по обвинению в занятиях магией, что не помешало ему умереть святым и сделаться богом императорской фамилии Северов. По-видимому, обвинение в магической деятельности было опасно лишь постольку, поскольку опыты её почитались угрожающими политическому строю государства или нарушали уголовный закон. В противном случае, не могли бы пользоваться покровительством государства такие доказанные и обличённые волхвы, как Александр Абонотейхот во II веке или Симон Гиттонский при Нероне. Римский культ был гостеприимен к чужим культам: легко впитывал в себя иноземных богов, их жречество, их мистерии, их чудеса. Римлянин не называл магом жреца Изиды за то, что тот претендовал на знание тайн, недоступных римской религии; ни жреца Митры – за то, что этот предполагался знающим ещё больше жреца Изиды. И, если приходил в Рим человек во всеоружии тайных знаний, больших, чем у всех ранее известных жрецов, то вечный город не почитал грешным или опасным и такого таинственного пришельца, но чтит в нём «великую силу Божию» и воздвигал ему статуи и храмы – под условием, чтобы «великая сила Божие» действовала достойно божественной благодати, и ни сама она, ни кто иной её именем не оскорбляли римского закона. В противном случае, Рим распоряжался с преступным культом, с его жрецами и участниками быстро и круто, не стесняясь угрозами чудесных возмездий. Возможность политического заговора и уголовные неистовства в мистериях вакханалий повели в 186 году до Р. Х. к страшным репрессиям, поглотившим жизнь 7.000 жертв. За 58 лет до Р. Х. преступления египетских жрецов заставили сенат римский вотировать разрушение храмов Изиды и Сераписа. Боги оказались настолько чтимыми в Риме, что не нашлось рабочего – поднять руку на их святилище. Но гордый закон римский сумел не уступить чарам чужеземного суеверия: сам консул взял топор и вырубил храмовые двери. Иудеи пользовались благосклонностью Юлия Цезаря, Августа и, некоторое время, Тиберия. Но вот – обращённая в иудаизм, римская гражданка Фульвия попала в руки четырёх иудейских авантюристов, которые принялись её обирать. Немедленно все иудеи изгнаны из Рима, а четыре тысячи из их молодёжи отданы в войско и отправлены в опасную экспедицию против сардинских разбойников. Входит в моду собакоголовый египетский демон Анубис, из свиты Изиды, которую, сто лет спустя, Ювенал обозвал «фаросскою своднею». Культ терпит с обычной снисходительностью, – до тех пор, пока жрецы его не вздумали продать ласки одной из своих суеверной прихожанок богатому развратнику, явившемуся на свидание под псевдонимом и маскою Анубиса. Как скоро открылся этот бесстыдный обман, император Тиберий приказал храм Изиды разрушить, жрецов её распять на крестах и самый кумир богини утопить в Тибре. В сороковых годах первого века по Р. Х. случилось волнение в римской иудейской общине из-за «какого-то Христа»: быть может, из-за прибытия в Рим первых христианских проповедников. До религиозных споров иудейских Риму не было никакого дела, но беспорядки и сходки спорщиков нарушали городское благочиние: иудеев опять выслали из столицы. Коротким сло-

вом, – повторяю: ни религиозных, ни философских гонений, – в средневековом и современном смысле этого слова, – Рим не знал. Его враждебные столкновения к культурами и учениями возникали исключительно на почве политической и уголовной. Ни одна философская секта не была гонима, но стоическая потерпела ужасный разгром, когда замешалась в заговор Пизона, а, по реставрации партии порядка при Флавиях, правительство, в свою очередь, тоже высказалось против неё. Понтий Пилат – очень жалкий пример неудачного римского чиновника, образец гражданской трусости, не умеющей справиться с самовольными магнатами и их чернью. Однако, чтобы добиться даже и от него смертной казни Иисуса Христа, саддукейское духовенство должно было выставить обвинения не религиозного, но политического характера, изображая Спасителя притязателем и на царство иудейское, угрожая робкому прокуратору мнительностью старого принцепса Тиберия: «Не знаем царя кроме Кесаря!» Администратор, умнее Пилата, более энергичный и понимающий свои обязанности, – Юний Галлион, родной брат философа Сенеки, губернатор коринфский, – когда местные иудеи привели к нему апостола Павла, холодно объявил неподсудными себе споры о вере: представитель римского закона поставлен судить деяния, а не мнения. Позже, преследуемый и загнанный иудейским фанатизмом, апостол Павел последовательно оправдывается пред всеми римскими чиновниками, пред которыми ставят его к обвинению; он почти ищет у римлян прибежища и защиты от своих единоплеменников, и был бы отпущен римлянами свободным на все четыре стороны, если бы, к несчастью, сам не осложнил дела апелляцией в высшую инстанцию, – к суду цезаря, по силе которой он должен был отправиться в Рим, в качестве подследственного узника. И тут, в Риме, он встретил то же снисходительное к себе отношение, что и у римских властей иудейского наместничества. «Деяния знаменательно свидетельствуют, что подследственное состояние великого христианского Учителя не воспрепятствовало свободе его проповеди: в течение двух лет он „проповедовал о царствии Божиим и учил о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно“». То есть, отдав апостола под полицейский надзор, в ожидании суда цезарева, как подозреваемого преступника по международному праву, римское правительство, вместе с тем, было совершенно равнодушно к вопросу о новой религии, которую основал этот подследственный и поднадзорный иудей. А для того, чтобы оно обратило на Павла и на его паству своё враждебное внимание, нужно было множество неблагоприятных условий в самом роковом их стечении, поставившем юную христианскую общину под тяжесть клевет и обвинений уголовно-политических: пожар Рима, безумные капризы Нерона, ревнивые раздоры в самой христианско-иудейской общине, доносы Александра Медника и т. п. Наряду с этим, девятнадцатилетнюю знатную римлянку Сервилию казнили смертью только за то, что она осмелилась гадать об особе государя, и, вообще, сотни политических доносов возникали и развивались именно на почве колдовства. Итак, всё религиозное и философское, следовательно, даже и магическое, – потому что «магия есть практика метафизики», – терпелось и уважалось Римом, если не возбуждало опасений уголовных и политических. Но, как скоро обвинение могло опереться на уголовные факты или хотя бы подозрения о фактах, то не было святыни, которую римский закон почёл бы выше своих вечных гражданских прав и на которую он побоялся бы поднять карающую руку. Консул Долабелла разогнал войско, вооружённое рукою зачинщиков культа убитого Юлия Цезаря, консул Луций Павел врубается собственноручно в храм Изиды, святой Аполлоний Тианский призван к суду оправдываться в человеческом жертвоприношении, а благочестивый Апулей – в любовном очаровании, чрез магические средства, пожилой вдовы с большим приданым. При подобных условиях, граница в чудотворстве между святостью и магией определялась, стало быть, только легальностью чудес, согласием их с законодательством и нравами общества. Творящий чудо был любимым святым, покуда он приносил пользу или оставался безвредным, и обращался в ненавистного мага, по мере того, как чудеса его приносили случайный или преднамеренный вред. А, так как польза и вред суть понятия относительные, то, следовательно, критерий разграничения чуда от волшебства, религии от

магии, жреца от колдуна, сводился практически просто к сумме симпатий судебных и народных, зыбко обусловленных обстоятельствами случая, места, времени и священных традиций.

Формулы, заключающие существо религии в жертвы и гадания, опасны для общества своими необходимо широкими привилегиями, которые открывают они сословию, профессионально ведающему жертвы и гадания, – духовенству. Всякую иную нацию, менее положительную и трезвую рассудком, они привели бы к вековой теократии. Но практический гений римского народа застраховал свою историю от властного священства простым средством: способы производить и получать религиозные чудеса чрез молитвы, жертвы и гадания, в прозаической римской религии житейских богов-символов, – приписывались не замкнутой касте жрецов, но распространялись на все светские магистраты высшего порядка, куда они находятся у своей должности, – в делах государственных, и на каждого свободного гражданина, в особенности же на отцов семейства, – во всём, что касается его частного обихода и домашнего очага. Римский жрец совсем не таинственный медиум, привилегированный посвящением на посредничество между людьми и божеством. Он только чиновник духовного ведомства, обязанный блюсти исконный устав религии нерушимо; указывать профанам, какие статьи закона этого, то есть такие молитвы и обряды к какому случаю прилагаются; и помогать выполнению статей в таком аккуратном и точном виде, чтобы, совершив всё предписанное, клиент божества мог потом считаться с ним, как с присутственным местом. Римляне имели свой свод законов по божеским делам: *Indigitamenta*, подробнейшие реестры богов, с обозначением подобающих им почестей, празднеств и возможных, ожидаемых от них услуг. Эти списки жрец должен был знать в совершенстве и уметь рекомендовать их параграфы к исполнению с искусством не только законника, но даже крючкотвора. Древнейшее сказание римской мифологии гласит о том, как ловко царь Нума обошёл Юпитера в договоре о человеческих жертвах, откупившись от них рыбою и головкою чеснока. При отчётливом знании и выполнении жрецом богослужебной формы, римляне не требовали даже, чтобы жрец веровал в бога, на службе при котором он числился, и в жреческом составе не диво было встретить открытого и прославленного вольнодумца. Боги в делах человеческих – предполагалось – считаются не с субъективною властью жреца-представителя, но с объективными формулами и символическою обрядов. Верит или нет жрец, – это его личный счёт с богом, и, если бог им недоволен, то сам его и покарает. Для других же верующих и для государства – жрец, втайне безбожный, но безукоризненно твёрдый в уставе служб, считался полезнее искреннего, но слабого в законе, с дурною памятью, бедного каноническим соображением, способного ошибкою или обмолвкою испортить процесс о милости божества, который поручено ему вести смертным просителем. В последние два века, начиная с Вольтера и Бэйля, было сделано немало попыток установить параллели между языческим жречеством и христианским священством. Из всех жречеств римское наименее поддаётся подобному сближению. Гораздо больше сходства имеет оно, если нужны современные параллели, с синодальным и консисторским блюстительством канонического права. Если вы желаете обвенчаться, окрестить ребёнка, исповедаться, вам нужен священник, одарённый силою совершить таинство, – и, конечно, вам, если вы человек религиозный, будет очень приятно, чтобы священник был искренне верующий. Но, если вам нужно только установить ваше законное право на венчание или развод, если вы имеете дело об усыновлении, процесс по уклонению от исповедания, в котором крещены и т. п., то вам практически очень мало заботы, насколько религиозен сам синодский или консисторский чиновник, в столе которого лежит ваше дело: вам важно только, чтобы он дал вопросу правильный законный ход, в результате чего будет удовлетворено ваше право. Та же самая логика руководила Римом в отношениях к жреческому институту. Личность жреца терялась в форме обряда настолько же, насколько личность чиновника духовного ведомства исчезает в статье закона. При точном исполнении предписаний формулы, жрец не мог испортить или улучшить гаданий даже преднамеренно. Авгур объявляет военачальнику счастливые предсказания к битве. Стороною военачальнику дают знать, что авгур солгал: пред-

сказания были дурные. Военачальник спрашивает: «Правильно ли были произведены наблюдения?» – «Правильно». – «В таком случае, я дам сражение, а, какие ауспиции он получил, мне безразлично: мне он объявил хорошие, и я обязан поступить в соответствии с ними. Если он солгал, боги накажут его; нам же боги обязаны помочь, потому что мы посланы ими в бой при хороших ауспициях». Не напоминает ли это современной бюрократической логики, которая закрывает глаза на факты позади последней бумаги с входящим номером, принятой к исполнению и снимающей с исполнителя всякую ответственность за последствия?

С римскою государственною тенденцией общедоступности религиозного представительства жречество напрасно боролось с течением всех веков республики. Духовенство сложилось в общественный класс, отвоевало себе специальность благодатных вдохновений и захватило ими огромную политическую власть во всех дохристианских культурах, – кроме государственного римского. В последнем оно стало приобретать силу лишь в последние века империи, когда потребность индивидуальной веры сделалась в народах римских сильнее потребностей строгой государственности. Основной римский культ, к третьему веку нашей веры, окончательно превратился в сухой внешний символ государственных взаимоотношений римского гражданина, где бы этот последний ни находился, со своею древнею метрополией; нравственно же он, – и без того никогда на этот счёт не притязательный, – был теперь совершенно заслонён синкретическою религиею, гостеприимно открывшею свои недра и египетской Изиде, и Солнцу-Митре, и Сирийской богине, и теософическому исповеданию неоплатоников. Наконец, истинное торжество теократического принципа внесла в Рим и в мир реформа Константина Великого, со времени которой интересы римского императора и дело священства христианской церкви переплелись тесными узами: обе власти стали органическим дополнением одна другой, и, расторгнутые, уже не могли бы существовать. Чем это кончилось, – хорошо известно; мало-помалу, сила церкви и епископа, во взаимодействии с верховною властью, победила авторитет светско-государственной традиции, а, победив, поставила себя выше и недавней союзницы своей, верховной власти: народилась грозная мощь средневекового папства.

И так, когда в настоящем этюде мне придётся упоминать о религиозных чудесах и тайнах древнего Рима, я заранее условливаюсь с читателем, что, за исключением немногих оговорённых мест, речь будет не о римском государственном культе в античной его простоте и прямолинейности, но о тех наслоениях, которые внесла в него позднейшая эллинизация римской культуры, а ещё позднее, разветвившийся от неё, космополитический синкретизм. В этом же, так называемом, эллино-римском язычестве погоня за чудесным, божественным вмешательством в жизнь человеческую – одна из наиболее характерных черт, и сказывается она тем упорнее, чаще, настойчивее и страстнее, чем более побед одерживает юное, свежее, полное сил и надежд, христианство. Церковь Христова сложилась на фоне неописуемых чудес земной жизни её Основателя. Сверхъестественные проявления благодати, почивавшей на апостолах, мужах апостольских и прочих двигателях первобытного христианства, были могучим пособием к распространению и победе христианской идеи. Сказания и свидетельства о чудесах покоряли христианской проповеди те народные массы, тёмные и недосушие мыслить отвлечённо, которым не хватало нравственной восприимчивости и привычки к умозрению для оценки внутренних красот веры Христовой, которым «не вразумителен» был Павел, которых смущала евангельская простота. Язычество, в предсмертной борьбе за существование, силилось доказать, что и в его недрах таятся такие же сверхъестественные, чудотворные силы, и даже большие, чем принесло галилейское учение. Чудесам Спасителя противопоставляли чудеса Ямблиха, Аполлония Тианского; Евангелию – мистический роман Филострата. Можно даже сказать, что с третьего века христианство и язычество поменялись местами по страстности отношения к чудесам. Чем долее жила христианская церковь, чем твёрже становилось её государственное положение, тем меньше оглашалось в ней новых чудес. В восемнадцатом веке возник между протестантскими богословами оживлённый спор о дате, с которой надо считать, что способность постоянных

новых чудес и знамений иссякла в первобытной церкви. Одни полагали такую датую кончину последнего апостола, другие (большинство) – обращение к Христу императора Константина, третьи – уничтожение ереси Ария. Как бы то ни было, но в третьем и четвёртом веке чудо – уже не необходимое орудие для торжествующих христиан: прирост церкви развивается неуклонно и быстро, для него довольно и естественных средств. Желанный Ханаан достигнут, и небеса не посылают больше манны, и огненный столб не светит Израилю по ночам. Язычество подбрало оружие, которое покинули его враги, и которое в руках их было так победоносно. В 354 г., – когда победа христианства над Римской империей могла считаться уже окончательно решённой, – старый государственный культ внезапно оживил свои угасающие силы нечаянным чудом. Продолжительные морские бури прервали сношения между Римом и Африкою, его житницею. Корабли хлебных караванов не могли войти в гавань. Рим голодал, чернь начала бушевать. Бессильный помочь беде средствами человеческими, городской префект Тертуллий, вопреки запретительному закону императора Констанция против языческого богослужения, старался протянуть время в любимых народом религиозных церемониях. Он отправляется в Остию и служит торжественный молебен в тамошнем храме Кастора и Поллукса, «морских угодников» языческого Рима. Случилось, что, как раз во время молебна, ветер на море переменялся, и африканские суда подошли к голодной столице. Конечно, молва о чуде разошлась по всему свету и, несомненно, поддержала расшатанный авторитет олимпийцев гораздо лучше, чем полемика софистов и даже, наступившее шесть лет спустя, правление Юлиана Отступника. Чудо – последний аргумент правоты, за который хватается гаснущий политеизм. Никому из зрителей обратного превращения Люция из осла в человека, свершившееся для благополучной развязки апулеевых «Метаморфоз», не доставило столько удовольствия, как жрецу Изиды, когда он понял, что пред ним не «христианский колдун», но верующий читель богини, спасённый ею за благочестие и в знамение своей силы и славы. «Сюда, безбожники, – взывает восторженный жрец, – смотрите и исповедуйтесь в своих заблуждениях!» Только в поздних веках империи римская религия выучилась оскорбляться не одними деяниями неверующих, но и самую свободу философской мысли. При этом, как водится, ревность светских ханжей далеко обгоняла усердие даже, прямо заинтересованного в борьбе с безбожием; духовенства. Восклицания Изидина жреца у Апулея вежливо сдержанны и невинны, сравнительно с проклятиями, что призывает на вольнодумные головы Ксенофана, Диагора, Гиппона, Эпикура благочестивый Элиан, – автор сборника, который, по миссионерскому назначению дать ряд примерных наставлений маловерному обществу, можно сравнить с нашим «Училищем Благочестия». Чудесные исцеления, видения богов, оправдания оракулов, случаи сверхъестественного вмешательства в дела не только богобоязненных людей, но даже животных, удачные пророчества, примеры небесного гнева на богохулителей и нечестивцев, описания убеждённых обращений от атеизма к вере и т. п. наполняют сочинения Элиана, Артемидора, Максима Тирского, риторика Аристида, – странного мечтателя-духовидца, Сведенборга о язычестве. Юлий Обсеквенс, внимательно изучив Тита Ливия, пользуется своим знанием только для того, чтобы сделать хронологический свод рассказанных им чудес. Выходят в свет поддельные мемуары героев Троянской войны, с поддельными указаниями на известность их прошлым знаменитостям литературы, вроде Корнелия Непота. Ненависть к отрицателям божественной силы в политеизме пылала страшная: серьёзно поднимался вопрос об уничтожении философских сочинений Цицерона, вместе с иудейскою библией, как вредных для государственной религии, – и немало надо подивиться благородной выдержке и здравому смыслу твёрдого римского правительства, не пожелавшего купить такую лёгкою взяткою симпатии невежества, облечённого в маску «народной Немезиды». Чудес не только ждали: их требовали, к ним привыкли. Фридлендер справедливо усматривает характерную черту для выжидательно-мистического настроения языческих масс в век апостольской проповеди, в том спешном легковерии, с которым жители Листры приняли апостолов Павла и Варнаву за Меркурия и Зевеса, – при чём сначала

едва не принесли им жертвы, а, когда разочаровались, что они не боги, то вскоре побили их камнями. Никого в народе не смутило рождение нового живого оракула, «бога Гликона», в образе Эскулаповой змеи, которую Александр Абонотейхот вывел, на глазах огромной толпы фанатиков, из гусиного яйца. Именем Гликона плут долго управлял религиозным мнением государства, включая сюда и государя, при том такого умного человека, хотя не слишком удачного правителя, как Марк Аврелий. Такое стояло мистическое время, что люди скорее удивлялись, зачем боги прячутся от жаждущих видеть их рабов своих, чем тому, что они обнаруживают своё бытие чудесами и видениями. Достойно замечания, что, воюя с христианской догмой, языческие полемисты не только соглашались с возможностью чудес Христовых, но даже находили их незначительными, далеко уступающими хитрым таинствам пифагорейских и неоплатонических фауматургов, вроде Аполлония Тианского. Иногда культы новый и старый открыто соперничали о праве на одно и то же чудо, как было, например, в известном случае при победе Константина Великого над Максенцием. И христиане, и язычники равно сочли её даром сверхъестественной помощи, но христиане полагали таковую в знаменитом видении Константина «Сим победиши», а язычники уверяли, будто за Константина видимо сражались его славные предшественники, покойные римские императоры, во главе с обожествлённым отцом его, Констанцием Хлором. Константин, благоволя открыто к христианам, не находил нужным опровергать и язычников. На триумфальной арке его, донныне красующейся в Риме близ Колизея, претензии языческие и христианские дипломатически примирены глухою фразой об участии в подвиге Константина «божественного внушения» – без указания, от принадлежащих которому культу божеств.

Религиозная терпимость римлян была одною из главнейших причин охотной покорности им народов и распространения их владычества на все известные тогда пределы земли. К концу республики, Рим совместил в себе весь мир, а божница его – богов-покровителей всего мира. Осаждая какой-либо город, римляне творили торжественный обряд, имевший целью уговорить богов обложенной твердыни, чтобы они отказались от настоящего своего местопребывания и перешли на жительство в Рим. Боги, обыкновенно, повиновались: то есть, в случае сдачи города, присоединения нового племени или государства, предполагалось, что они послушались молений и перешли на римскую сторону. Сохранилась формула этого обряда, очень почтительная, ясно доказывающая, что даже в самые древние времена Рима, ему была чужда религиозная исключительность. Строго чтя родных богов, римлянин, однако, не считал их единственными владыками мира и не объявлял ложными богов, поклоняемых другими народами. Римский гений велик на своём природном месте, эти – на своих местах; безумно презирать их только потому, что они чужие, лучше сойтись с ними дружески, умастить их, подкупить, привлечь к союзу. Небо, как и земля, представлялось древнему римлянину, объединителю вселенной, разделённым на кланы и уделы, которые надо собрать в одну руку, – и, совершенно тем же порядком, как римские земли в Италии округлились за счёт этрусков, латин, сабинов, так и римская божница последовательно пополнилась этрусскими, сабинскими, латинскими божествами и соответственными привносами в ритуал и обычай. Взяв город Вейи, римский главнокомандующий прежде всего поспешил отслужить молебен местной Юноне Владычице, прося её принять отныне под покровительство победоносный римский народ. Молились, покуда вождь не объявил, что Юнона умиловивлена и благосклонно кивнула ему головою. Тогда богиню перевезли в Рим и включили в национальные святцы. Так же точно отвоёвана у Тарента статуя Победы, хранимая ныне Ватиканским музеем. Римский сенат присвоил её себе, как покровительницу его заседаний. Этот женский гений отцов отечества нелегко уступил христианству: св. Амвросий Медиоланский и Симмах тягались за древние сенатские права прекрасного кумира ещё при Грациане и Феодосии Великом. Заимствовали богов военной силою, заимствовали мирным подражанием через соседство культов. Из Кум Рим взял Аполлона, Геркулеса, Сивиллины книги; из Локр, через Тускулум, Кастора и Поллукса; из Сицилии – Афродиту Ардейскую и

Эрицинскую; из Тарента – игры в честь Доброй Богини, секулярное чествование Дита и Прозерпины и т. д. Соседи, обираемые Римом в богах своих, старались платить тою же монетою. У Дионисия Галикарнасского читаем об этрусском жреце, который заклинал хранителя Рима, Юпитера Капитолийского, переманивая его на свою родину и обещая ему посвятить там точно такой же Тарпейский холм, как и в Риме. Чтобы заклинания подобного характера не могли иметь удачи, Рим прожил всю свою историю и живёт теперь к концу третьей тысячи лет, в сущности говоря, под псевдонимом: настоящее мистическое имя города, равно как и имя его гения-покровителя, было окружено глубокою тайною, в которой и умерло вместе с древними богами. Один из старого знатного рода Валериев проболтался об этом имени, – и сам он жестоко поплатился за нескромность, а слушатели-соучастники за опасное знание. Как боги лишают своего покровительства воюющую сторону и бегут от неё, о том легендарная сокровищница римской истории хранит много рассказов. Пред разрушением Иерусалима Титом, двери великого Иродова храма на Сионе распахнулись ночью сами собою, мерцал таинственный свет, слышались грозные голоса: «Уйдём отсюда». Прослышав об этом чуде, римляне заключили, что Иудейский Бог покинул народ свой на его собственные силы и не стоит за него более. Солдат, который поджёг храм во время штурма, вопреки приказу Тита пощадить святыню; казался товарищам действующим вне себя, под внушением какого-то непостижимого, нового божества. То есть, – его рукою мстил до конца народу своему разгневанный, карающий Бог иудейский. Во время междоусобия триумвиров Октавия и Антония, однажды ночью, воздух наполнился музыкою и смутными звуками, как бы толпы, удалявшейся от лагеря Антония. Странный феномен был истолкован в том смысле, что это – отступился от Антония его покровитель, бог Дионис (или Геркулес) и ушёл на сторону Октавия.

Из небесных дезертиров составилась в римском календаре отдельный класс богов, разделённый на многие категории (*Dii adventitii*, *dii deditii*, *dii municipii*, *dii peregrini*), в подробности которых здесь входить излишне. Значением они были ниже природных римских богов, по крайней мере, в момент своего первоприёма в Риме, покуда какой-либо благоприятный случай или многолетняя привычка к культу не вводили их в честь. Выслужиться в Риме благоприобретённый бог мог довольно легко, – при той розни, какая существовала между патрицианским и плебейским слоями города-государства. Плебеи не забывали, что исконные римские божества суть, собственно говоря, фамильные и племенные боги, гении-покровители патрициата, – следовательно, считали их втайне враждебными демократии и не прочь были искать противовеса их могуществу в сверхъестественных пришельцах из соседских культов. Так, например, культ великой земледельческой триады – Цереры-Деметры, Коры-Либеры, Диониса-Либера, – был по преимуществу плебейским и даже превратился с годами как бы в символ плебейской свободы, народных вольностей и конституционного равновесия. В храме, посвящённом триаде, хранился политический архив плебеев, в пользу этого храма поступали штрафные конфискации в случаях правонарушений, оскорбительных для плебейского равенства. До какой степени разница культов плебса и патрициата была вопросом политическим, явствует из знаменитого процесса против участников таинств Вакха в 186 году до Р. Х. Разоблачения вакханалий смутили власть ужасами безнравственности, но главным-то мотивом беспощадного преследования вакхантов и выставлялась, и была действительно опасность политического заговора, который мог поставить себя под покровительство нового свободолюбивого культа. И боязнь была не вовсе неосновательною, если принять в соображение, что даже в числе немногих данных, которые история имеет об этом таинственном и тенденциозно оклеветанном культе, сохранились два многозначительно-красноречивых принципа: равенство рабов с господами, равноправие посвящённых мужчин и женщин.

Третий класс, вернее обособленное подразделение второго, образовали божества, узнанные Римом во внеиталийских завоеваниях его, признаваемые за силы сверхъестественного могущества, но не включённые в общегосударственную божницу обязательного культа, –

не препятствуемые к поклонению, иногда даже поощряемые предпочтительно перед другими богами, но оставленные лишь в обычае, а не в законе; религиозный кодекс Рима их не защищал. Так, иудейский Иегова, Яхве или Иао почитался многими римлянами, не исключая даже столь строгого религиозного патриота, как Август. Христос, – не в качестве Божественного Учителя и Спасителя мира, но как «варварский бог», – помещён в кумирне Александра Севера и т. д.

Этим божествам – пришлым, сдавшимся, чуждым – строили храмы за священную черту города, во избежание ревности со стороны родных богов. Можно думать, что, вопреки букве запретительного закона о подобных постройках, разрешение на них давалось очень легко для всех культов, по мере их распространения. Христианство было гонимо римским правительством, – однако, известно, что уже во втором веке оно имело в Риме свои церкви (до шестидесяти!), часовни и кладбища, возникавшие, конечно, в светлые промежутки преследований. Предместья Рима были густо застроены храмами разных религий, – и государство, даже будучи недовольно которою-либо из них, посягало на эти святилища враждою очень редко и осторожно: каждый случай внутренних столкновений римского городского благочиния с чужестранным культом записан историками, как событие, из ряда вон выходящее; на тысячелетнем протяжении римской истории можно пересчитать такие исключения терпимости по пальцам, причём, как говорилось ранее, каждое имеет логическое объяснение в мотивах уголовных или политических. В общем же правиле, широкая и любознательная религиозность Рима паче всего опасалась, как бы ей не оскорбить чьего-либо бога, без крайней к тому надобности. Обжившись в Вечном городе и войдя в моду, боги-пришельцы быстро и искусно завоёвывали себе легальное положение и иногда добирались даже до Капитолия, как удалось Изиде и Серапису. Время от времени, римский государственный культ делал уступку общественному суеверию, торжественно усвая себе которое-нибудь из чужестранных божеств, наиболее модных и заслуженных, или рекомендованных оракулами. Параллельно с географическим движением римской военной политики на Восток, входили в честь и проникали в *Indigitamenta* божества азиатские. Древнейшей канонизации удостоилась сирийская Мать Богов: её перевезли в Рим из Пессинунта Галатского в 205 г. до Р. Х., и, как только очутилась она на итальянском берегу, сейчас же совершила чудо, очистив весталку Квинту Клавдию от тяготевших над нею подозрений в нарушении обета девственности. В век Цицерона и Юлия Цезаря полуофициальным признанием пользовался, по-видимому, иудейский культ Яхве. В память Юлия же Цезаря построили триумвиры храм Изиде и Серапису, как бы почтив тем египетские пристрастия покойного. Август дал развиваться сирийскому культу Адониса. Гелиогабал навязал Риму Ваала и т. д. Но гораздо большее количество варварских богов было усвоено Римом чрез международное сравнение мифологий, чрез общение и ассимиляцию культов (Синкретическая религия). Так, Сулла в дикой Ма, богине Коммагены на Евфрате, узнал древнюю римскую Беллону и перевёз её с почестями на Тибр. В Галлии имена римских богов сочетались неразрывно с именами местных божеств, предполагаемых им параллельными. Туземная лузитанская Атецина стала в римском толковании Прозерпиною. Явились Юпитер Гелиопольский, Юпитер Долихийский, Юпитер Аммон и др. Дельфийский оракул торжественно провозгласил, что боги везде одни и те же, под какими бы именами им ни поклонялись. Это был уже шаг к тому, чтобы имя божества перестало звучать обозначением его личности и обратилось в символ известных его качеств, привычно проявляемых в известном храме, по чину известного культа, народа, государства. Язычество возвращалось к исходу, откуда оно доисторически начало: божественные существительные стали переливаться в прилагательные, божественные индивидуальности – выцветать в эпитеты. Слагалась новая хитрая мифология условных абстракций, чрез которую ясно сквозила конечная идея Однобожия, проникали в жизнь пантеизм и деизм.

2

Итак, различие между религией и магией не могло найти себе твёрдо определительных устоев в течение тысячелетней истории Рима, начиная с древнейших угроз волшебству в законах Двенадцати таблиц и кончая указами Константина, Констанция, Валентиниана, обоих Феодосиев, которые, под предлогом преследования магии, раздавили и весь обряд старо-языческих культов. Кроме зыбкого принципа, что религия производит чудеса благие и светлые, а магия вредные и тёмные, – можно установить ещё один, хотя постоянный, но столь же мало определённый. В чуде религиозном сила божества являет себя добровольно; чудо магическое свершается чрез принуждение божества человеком.

Боги – бытия могучие, но не безгранично; они повинуются жертвам и формулам. Словами, знаками, обрядами их можно переманить с места на место, удержать при себе против их воли, – словом, до некоторой степени, управлять ими, как силою служебную. Пример, как боги торгуются из-за условий перемещения, передаёт Дионисий Галикарнасский. Боги, перенесённые из Лавиниума в Альбу, сбежали ночью, сквозь запертые двери, на старое своё пепелище. «Они очутились в Лавиниуме на прежних пьедесталах. Их перенесли вторично, но они ещё раз вернулись на то же место. Тогда решили оставить кумиры, где стоят, но переселили в Лавиниум шестьсот альбанцев со всеми их семьями, чтобы заботиться о богах, и дали им в начальники Егеста». Это пример религиозного компромисса с своеволием божества. Но не всегда с капризными кумирами обходились так мягко. Случалось, что их держали как бы в плену, пользуясь их благодатью насильно. Свидетели Квинт Курций и Плутарх. По рассказу первого, тирийцы привязывали местно чтимую статую Аполлона, потому что «эти быстроногие и летучие боги всегда готовы перейти к врагу». Во время осады Тира Александром Великим, коварный кумир откровенно сочувствовал македонскому герою. «Многие граждане Тира, – говорит Плутарх, – видели во сне Аполлона угрожающим уйти к Александру, потому что ему не угодны городские порядки. За это тирийцы наказали бога, как уличённого перебежчика: колосс его скрутили верёвками и привинтили к пьедесталу, да ещё прозвали его „Александровцем“».

Мифологи прошлого века не любили доверяться простодушию древней веры. Не поверили они и прямому, наивному объяснению уз, наложенных на тирийского солнечного бога. Крейцер мудрствовал о нём: «Идол был почти всегда на цепи; это, по всей вероятности, должно было символизировать приближение зимы, налагающей оковы на пламя солнца, или же неразрывный узел, сочетающий первоначального творца со вселенною». Если бы даже возможно было принять, в данном случае, стихийное толкование, – то чем объяснить другие, ему подобные? Насколько был распространён обычай держать кумиры богов на привязи, видно, между прочим, из того простого и обыденного обстоятельства, что значительное число статуй, оставленных древностью, снабжено в подножиях кольцами – для верёвки или цепи, которым решительно нельзя придумать иного назначения. Древние прикрепляли статую, вместилище закланного ими божества, чтобы божество не освободилось и не убежало вместе с своим кумиром. Совершенно по той же логике, в средневековых библиотеках заковывали в цепи, окроплённые святою водою, сборники магических формул и демонологические трактаты, учившие, как покорять своей воле дьявола. Средневековой магик общился с миром духов через книгу, древний феург – через статую. Дьяволам Спренгера и Дель Рио было лестно украсть какой-нибудь «Ключ» или «Гримуар», училище неограниченной власти над злыми духами. Древнему демону или богу было также лестно вырваться на свободу, утащив у человека, связавшую его волю, статую. И, конечно, как дьяволам Спренгера и Дель Рио препятствовали в их хищнических затеях не верёвки и цепи, но святая вода, их окропившая, и молитвы, при этом произнесённые, – так точно должен был иметь свои мистические запретительные формулы и античный обряд связывания и развязывания кумиров. Здесь религия уже теснейшим образом соприка-

сается с магическим искусством возвысить волю человеческую над волею божественною, которую признавал в статуе не рассуждающий народный ум, над волею демоническою, которую желал усматривать в ней мыслящий и образованный монотеист-философ. Магическая феургия – таинственная власть поклоняющегося над поклоняемым. Она сильнее бога-демона. Бог-демон терпит её против воли. И в этом-то, с теологической точки зрения, заключается её принципиальная греховность и преступность. Практическое назначение законодательства против магии – запрет возможности наносить людям вред чрез богов, обезволенных её средствами; высший теоретический смысл запрета – защита почитаемого божества от унижения, поработавшего его волю. В мероприятиях против волшебства Рим заступался сразу и за своё гражданство, и за свою божницу.

Народное убеждение в способности статуй к перемещению, конечно, питалось не только легендами и видениями суеверов, но и множеством кумиров-автоматов, в изобретении которых античная механика, с лёгкой руки Герона, была, по-видимому, необычайно искусна. О чудотворных статуях, созданных древними мастерами, – говорящих, краснеющих, потеющих, вращающих глазами, кивающих головами, ходящих, летающих, – говорят Лукиан, Авл Геллий, Макробий, христианские легенды о Симоне Волхве, Апокалипсис Иоанна и т. д. Многочисленность разносторонних свидетельств, до известной степени, ручается за возможность факта. Обыкновенное возражение скептиков, будто механика древних не могла производить очень сложных приборов, опирается на то доказательство, что все рабочие и ремесленные орудия, сохранившиеся от античной промышленности, крайне просты, грубы, – можно сказать, первобытны. Оно не исчерпывает вопроса. Каждая эпоха развивает то предложение, на которое имеет наибольший спрос. Первобытность античных ремесленных орудий определяет только то условие, что древние мало нуждались в усовершенствовании механических средств производства. При дешевизне рабского труда, при беспощадных от него требованиях и в количестве, и в достоинстве работы, – имея к тому же для эксплуатации европейскую природу далеко ещё не в столь истощённом виде, как теперь, – античный производитель не старался усилить интенсивность труда искусственною энергиею: раб был выгоднее машины. Ещё Герон учил о движущей силе пара, – однако, до Уатта надо было ждать слишком две тысячи лет, пока настоящая социальная потребность в новом моторе, сильнее и дешевле человеческих рук, вызвала к промышленной реформе успешного изобретателя. В восемнадцатом веке только Англия могла породить Уатта, потому что его изобретение было ей уже насущно необходимо. Франция, за сто лет до Уатта, посадила его предшественника, Соломона Ко в дом сумасшедших. Если это и легенда, то выразительная: она – символ национального признания, что промышленность Франции, в эпоху Ко, не созрела ещё до потребности в механических средствах, настолько настойчивой, чтобы, чаемая от изобретения, польза могла победить в глазах века предрассудок исконной традиции против неслыханного нововведения. Словом: если античный мир не имел машин, которыми мы пользуемся, то не следует забывать, что он в них, по характеру производств своих и размерам своего потребления, весьма мало нуждался. Наоборот, мы – не имея столь сильной, постоянной и настойчивой потребности в изящных искусствах, художественной промышленности, в религиозной красоте, в религиозном чуде, какую отличалась древность, – бессильны породить скульптора, способного создать вторую Венеру Милосскую, архитектора, который победил бы творцов Парфенона и Колизея, – быть может, не будет ошибкою прибавить: и механика-специалиста, чтобы возвести на степень древнего совершенства мистические представления и чудеса. Христианские церкви чуждались всего, что могло напомнить народу об изящных, занимательных идолах; они не нуждались в прекрасных, загадочных статуях-автоматах; следовательно, производство последних должно было умереть. И оно, действительно, умерло, как почти на одиннадцать веков, умирала, за ненадобностью, божественная олимпийская скульптура. Да и вполне ли она воскресла? Когда Возрождение начало роднить Европу с преданиями «воскресших богов», то, в числе других оживших искусств, стало было разви-

ваться и производство самодвижущихся фигур: им, в целях религиозных и театральных, занимаются такие люди, как Тритгейм, Корнелий Агриппа, Леонардо да Винчи; слагаются легенды, что в нём достигали удивительных успехов предвестники Возрождения, вроде папы Сильвестра (Герберта) или Альберта Великого. Если оно опять заглохло и вымерло, причину надо искать в гонениях католичества на всё, что его невежественной инквизиции казалось похожим на магию, и в иконоборческой энергии реформации.

Вообще, наука древних цивилизаций – дело спорное и загадочное даже до сего дня. Смешно благоговеть пред её тайнами вслед сторонникам теории Балльи, но вряд ли правильно относиться к её «младенчеству» с презрением современных представителей положительного знания. Какова бы ни была античная культура, она была неизмеримо выше не только средневековья, но и всего Возрождения. Её право не умерло до наших дней, её астрономии хватило Европе до Коперника и Кеплера, причём, однако, и Коперниково открытие имело своих античных предшественников в пифагорейцах Филолае и Архитасе и, особенно, в великом геометре Аристархе Самосском. Числовые периоды пяти главных планет, высчитанные Гиппархом, остаются и по сей час фундаментом планетной астрономии и принимаются современной наукою почти без поправок. В математике мир до сих пор верит Евклиду больше, чем Лобачевскому. Тысячу двести лет надо было жить медицине от Галена до Везалия. Ещё больше промежутков между Аристотелем и Бэконом, – и так ли уж далеко ушли вперёд от логики их Джон Стюарт Милль и Александр Бэн? Мы, русские, греки, славяне. настолько прочно утвердились в пользовании Юлианским календарём, что ещё недавно, при переходе в двадцатый век, провалили увещательные проекты Грегорианской реформы. Пятнадцать столетий изживает Европа остатки этих разрушенных, отвергнутых цивилизаций, и не может изжить. Думаю, что, при зрелище таких прочных и многосодержательных обломков, мы имеем и право, и основание относиться с большим доверием и уважением к гипотезам о мудрости целого, которое они когда-то составляли.

Что касается естествознания, техники, механики, то, смеясь над их бедностью и сомнительностью в античной науке, мы, быть может, слишком много значения придаём таким энциклопедическим писателям, как, например, Плиний Старший, Сенека, Элиан. Между тем, сочинения их – не более, как обширные популяризации общедоступных знаний для малосведущей «общей» публики, и судить по ним об истинном уровне античных наук так же неосновательно, как если бы мы сделали заключительный вывод об успехах современной химии из книжек, издаваемых для первоначального самообразования. Немыслимо предполагать, чтобы знание древних близко подходило к высотам опытных наук прошлого и даже восемнадцатого века. Но нельзя остановиться и на мысли, чтобы знание это ограничивалось теми тесными рамками, которые так легко устанавливаются, если слепо довериться дошедшим до нас свидетельствам, признавая их в букве и, смысле, как последнее слово античной науки, не позволяя себе ни размышлений, ни гипотез, вне их непогрешимого авторитета. Отличительным признаком древней науки был аристократизм её, жречество, сословная тайна. Наука не демократизировалась, не шла в житейский обиход, оставалась силою для немногих избранных людей и для священных целей. И, быть может, в этом последнем назначении, она, действительно, знала больше, чем мы о том осведомлены авторами. Из несомненных чудес-фокусов древней религии многие не могут быть разгаданы средствами науки того времени, поскольку она нам известна. В самом деле, что заставляло летать эти таинственные кумиры? Игрушки, летающие без помощи пара, нагретого воздуха, водорода, и в наши дни не совсем обыкновенны; они возбуждают чуть не суеверное удивление, и опыты с ними собирают полные аудитории любопытных. Что такое светящиеся камни в венцах кумиров, которыми иные храмы освещались ярче, чем днём? Какой свет в состоянии дать подобный эффект, кроме электрического? Мы знаем, что фокусы производились, но почти ничего не знаем о способах производства фокусов. Что наука древности слишком много тратилась на фокусы, этот упрёк не подлежит опровержению. Но чудотвор-

ный религиозный культ античных государств, объединённых Римом, требовал фокусов, – и в них не было недостатка. Известны случаи, что верующий, испрашивая у богов пророчества на удачу своего предприятия, не довольствовался одним благоприятным знамением, но, заручившись им, просил подтверждения вторым и третьим. С такими придирчивыми прихожанами, жреческой науке было где и зачем развить свою прикладную специальную изобретательность. Описывая храм Сирийской Богини, равно священный для нескольких культов, Лукиан, скептик и ненавистник богов, насчитал чуть не целое полчище кумиров-автоматов, которых существование повергает нас в такое недоумение, что мы часто предпочитаем вовсе ему не верить. Между тем, Лукиан, как будто, удивлён только скоплением и разнообразием множества их в одном Храме, – о самодвижении их он упоминает равнодушно, вскользь, как о вещи, всем давно известной.

Наконец, надо принять в сравнение высокую степень развития древнего строительства, особенно римского. Здесь дело шло уже не о фокусах. По римским мостам в Швейцарии, в Испании, в Македонии две тысячи лет тянутся проезжие тракты и, наконец, стали ходить железнодорожные поезда. Аппиева дорога прослужила Италии, с самым дешёвым ремонтом, тоже чуть ли не до рельсовых путей. Практичнее, проще и дешевле римских зданий из дикого камня, залитого цементом, строительная техника ничего не выдумала, – по крайней мере, для южного климата. Бедные люди в Италии и сейчас так строятся. Скорость и дешевизна этого способа сохранили потомству всё, что мы знаем об античном Риме, когда булыжный, цементированный дом ветшал, владелец не разрушал его, чтобы очистить земельную площадь для нового дома, – было выгоднее засыпать старое здание землёю и, обратив его в фундамент, вывести над ним новое. В самые последние годы, дно озера Неми выдало, почти невероятную на первый слух, тайну, что судостроители цезаря Кая Калигулы умели сооружать корабли не только броненосные, но и несгораемые. Последним условием обороны наша кораблестроительная техника не превзошла ещё современных ей средств нападения. Конечно, броненосная яхта Калигулы не выстояла бы против самых слабых пушек, но – ведь пушек-то не было. Зато орудия тогдашних морских атак, – абордажный топор, носовой терпуг и брандеры, – не угрожали ей ни малейшею опасностью. А давно ли перестали они быть страшными нашим деревянным флотам? Огнеупорный сплав, добытый с древних кораблей озера Неми, совершенством своим подверг в изумление итальянских морских инженеров. Если античная техника могла производить подобные «фокусы», по желанию правителей, остережёмся слишком резко отказывать античной механике в способности равняться с нею, по желанию священников.

Вера в движущиеся кумиры столь же стара, как и самая скульптура, – даже старше её, потому что древние верили в одухотворённость не только самых фигур божеских, но и материала, к формированию их послужившего. Даже на самых высоких ступенях своей культуры, они не отказывались от литолатрии, камнепоклонничества, символического для верующих умных и образованных, прямого для тёмных святош и ханжей. Знаменитая сирийская Мать Богов, о которой было говорено, как о древнейшем восточном божестве, принятом в римские *Indigitamenta*, считалась первобытно воплощённою в большом диком камне. Ваал из Эмезы, привезённый Гелиогабалом, – чёрный, конусообразный аэролит, отдалённо схожий с символом плодородия. Лактанций, уже в четвёртом веке по Р. Х., издевается над римлянами, «обожжающими дикий, едва обтёсанный камень, именуя его богом Термом. Это, говорят, тот самый камень, который Сатурн сожрал, полагая, будто ест своего сына Юпитера». Когда последний водворился на Капитолийском холме, все местные божества любезно удалились с Капитолия, предоставив его в исключительное владение царю людей и богов. Не тронулся с места один лишь Терм, считая себя не ниже Юпитера. «Этот безобразный бог почитается хранителем пределов империи: он их бережёт и защищает от вторжения варваров». Из сказания о капитолийском божестве государственной границы возникла впоследствии средневековая легенда о ста-
туях провинций, помещавшихся будто бы на Капитолии, каждая с золотым колокольчиком на

шее: если в которой-нибудь из провинций начиналось восстание, её статуя приходила в движение, колокольчик звенел, и предупреждённый сенат немедленно принимал меры к водворению порядка. В миниатюре, бог Терм покоился на каждом поле, на каждой раздельной меже двух владений: он извечно стал в Италии символом и покровителем земельной собственности; потревожить и тем более тайно перенести термальный камень было не только нарушением межевого знака, но тяжко наказуемым святотатством. Входили в честь камни исторические: Ливий упоминает, что в Риме, близ курии, долго сохранялся, чтимый с суеверным благоговением, камень, который некогда, будто бы, отрезал бритвою от скалы авгур Атт, во знамение маловерному царю Тарквинию Древнему. Клятва «богом, живущим в камне» – древнейшая римская божба: *per Jovem lapidem*. Историки, начиная с Катона и кончая Павлом Диаконом, описали нам так называемый «mundus», то есть мир, или свод небесный: священное место, которое итальянскими народами сооружалось в почве, избранной для посёлка, с посвящением его подземным богам и душам усопших. Mundus устраивали раньше, чем началась закладка самого города, или, вернее сказать, устройство его и было этою закладкою: он становился центром, около которого должны были затем пройти, в равных расстояниях, борозды, с наметкою будущих стен города. В Риме, по преданию от Ромула, первобытный mundus помещался на комиции. То был земляной грот, углублённый в лоно матери-земли правильным полушарием, наподобие опрокинутого небесного свода. Mundus почитался дверью в преисподнюю и открывался только в известные дни, подобные нашей Радуннице, когда поминали покойников, и предполагалось, что они выходят на белый свет и снова общаются с природою. В обычное же время, грот был задвинут камнем – *lapis manalis*, – что значит «камень манов», святых усопших, но в древнейшем языке значило «разливающийся, светящийся», от глагола *manare*. Камень этот, сам по себе, был предметом культа, и некоторые исследователи думают, что самостоятельного и гораздо древнейшего, чем поклонение манам. По Базинеру, камень манальный был чтим, как символ «ночного солнца», зашедшего на ночь с надземного небесного свода в тёмное подземное царство. Солнечный бог, семитический ли Ваал, эллино-римский ли Гелиос, Феб, Аполлон, часто воплощался в природном камне. Даже в Дельфах, блиставших тысячами великолепных кумиров, не вымерли древние жертвоприношения, состоявшие в помазании елеем солнечного камня.

Как все виды идолопоклонства, литолатрия началась с грубой анимистической символики. Подобно тому, как первобытный италиец поклонялся Марсу под открытым небом, пред воткнутом в землю копьём, так точно в Греции и Малой Азии глыба глинистого камня стала Матерью Богов, громадный неуклюжий валун – Гераклом, аэролит приапической формы – Ваалом и т. д. Это знаменитые камни-боги, на весь мир прославленные своею благодатью; но города греческие и римские были усеяны священными камнями, чуждыми всякой чудотворной известности, однако, с усердием почитаемыми в силу не их специального, но общелитолатрического культа. Теофраст, в четвёртом веке до Христа, описывает, как греческие ханжи, проходя улицею мимо умахённых маслом камней, вынимали свою елейницу и тоже возливали на них масло, молитвенно преклоняя колена. Латинский поэт, желая нарисовать быт, чуждый цивилизации, без религиозных зачатков, жалуется: «Нет у этих людей ни украшенного дерева в лесу, ни камня, помазанного елеем». На более высоких точках культурного развития литолатрия становится посредницею и проводницею воззрений демонических. Камень признаётся жилищем божества или духа, поселившегося в нём или сорождшегося ему. Описанный Фотием, врач Евсевий носил свой камень-фетиш на груди, советовался с ним, получал от него ответы голосом, похожим на слабый свист. Плиний толкует о камнях, которые убегают, когда делаешь вид, будто хочешь их схватить. Подобное же поверье повторялось о камнях храма Паллады в Спарте: их даже делили на храбрые и трусливые. Легенда не умерла в христианстве, ужилась и привилась на почве средних веков. У какого европейского народа нет своих святых камней, чтимых в память излюбленного местного угодника или связанных с каким-нибудь

божественным преданием? Христианские епископы, разрушители языческих храмов, обращались к камням в стенах их с повелительным словом, и камни повиновались заклятию, рассыпаясь из своего нечестивого единства. Происходило, таким образом, нечто обратное тому, что случилось при постройке фиванских стен, когда чародейная лира Амфиона заставляла камни слагаться один к другому. Несмотря на разность результатов, в предании христианском, как и в предании языческом, звучит общее убеждение: камень слышит и чувствует, камень населён силою, которой можно приказать, и она окажет разумное послушание. Преподобный Бэда проповедовал камням, и они отвечали ему «аминь». Европа не бедна камнями и скалами, которые почитаются жилищами или гробами, загнанных в нутро их, проклятых злых духов, цвергов, великанов. Полными чертовщины признаются камни друидические, рунические, многие руины древних языческих храмов. Уже у св. Жильдаса мы встречаем известие, что камни Карнакского храма имеют обыкновение исполнять по ночам таинственные пляски. У нас в России легенды демонического камне-движения так многочисленны, что могли бы дать материал для обширного сборника. Замечательнейшие: сказание о Баше и Башихе, о каневецком Конь-камне, о Конь-камне в Тульской губернии, о сибирских шаманских камнях и степных могильниках. Даже в самом центре Петербурга высится камень, который в течение многих столетий был престолом и жертвенником финского демона: это – подножие памятника Петру Великому.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.